

ДЕВОЧКА С ТАКСОЙ

Как жаль эту девочку! Хоть и видно сразу, что она не ангел. Светлая головка склонена набок с недетской кокетливой свободой. Прозрачность далеко расставленных глаз порочна. И еще челка, неестественно для семилетнего ребенка прямая и гладкая.

А, может, все это: и свобода, и "порочность" – просто случайное движение перед нацеленным фотоаппаратом, истеричный отблеск вспышки. В любом случае жалко. Знала бы она, в какую превратится бабу... с крашеными волосами, мужской папиросой в углу рта, высокими щеками, набухшими от водки, и кривой после перелома ногой.

Хорошо, что в детстве нельзя достать из сумки треснувшую фотографию и показать соседке: "Вот какая я буду в пятьдесят". Вряд ли захотелось бы карабкаться к такому финалу. Жить и знать, что когда-нибудь будешь блевать над раковиной в махровом халате умершей дочери, натянутом поверх грязной ночной рубахи... Нет, просто счастье, что память у нас работает только в одном направлении – задним ходом! Впрочем, есть еще одно устройство – предчувствие. Но этим мало кто владеет. Да и обмануть себя можно. Сказать себе: "Что это за дурацкие фантазии! Вот у меня какое симпатичное личико! С ямочками, с милыми колючими уголками! Мама заказывает платья у лучшей в городе портнихи. С вышивкой, с мережкой! Папа из командировки тащит полный чемодан подарков. "Закрой глаза!.. Открывай!" "Ах!" Ах... И на шею к нему! Белая рубашка, тоненько вышитая по вороту и манжетам, влажная от жары и дороги. "Пусти! Я сначала умоюсь". Нет, ни за что! Не пущу! Так бы и остаться навсегда, и висеть, как обезьяна, обнимающая дерево. "Купи мне обезьяну!.. Нет, не такую! Это резиновая, а мне настоящую!" – "Закрой глаза! Открой рот!" – "Нет! Обезьяну!" – "Открой глаза!" – "С ума сошел, Николай! Мне только собаки в доме не хватало! Мало мне кухни, стирки, уборки..." – "А что же Катерина делает, если и стирка, и все прочее на тебе?! Может, откажем Катерине, раз от нее нет толку?"

Дверь хлопнула с размаху в комнате! В коридоре! И последняя, входная. Ну и пусть. Они будут жить вдвоем с папой. И такса с ними. Ляля сама сумеет принимать гостей, резать торт. Будет водить в дом кого захочет. Хоть дворничкину Женьку!

Конечно же, девочка больше любит отца. Это сразу заметно. Стоит только взглянуть на фотографию. Возможно, она даже ревнует отца к матери. И как не раздражаться на такую мать? Не старая, но вся какая-то одутловатая и студенистая, а волосы зачесаны кверху и выступают вперед, как носик у кувшина. Да еще заставляет есть овсянку и приучает к аккуратности.

Но если бы девочка услышала, как она будет орать на толстую, дряблую старуху! Дряблую и рыхлую, как саквояж... Среди ночи. В синей темноте, плещущей в четыре стены тесного двора. При умышленно распахнутом окне. "Почему ты пачкаешь мое доброе имя? Ты сидишь у меня на шее, ты объедаешь меня с самого детства! Эксплуатируешь! и еще смеешь порочить меня перед людьми! Почему? Почему весь дом считает, что здесь происходит проституция?!"

Нет. Девочка не поверила бы, что это ее собственный голос. Но она вполне могла бы опознать визг своей матери: в нем до конца сохранялся густой галантерейный привкус, предательский привкус обеспеченного прошлого. "Ля-а-ля-а!! Прости-и! Ля-а-ля!" И непонятно, откуда такая страсть раскаянья. От безумного испуга? Или это спектакль, вдохновенно сымпровизированный среди пьяной ночи? Ради спасения Лялиной репутации в глазах разбуженных соседей? Как бы случайно приоткрывшаяся людям правда? Людям, которые знали Лялю еще школьницей с кокетливым белым фартучком, сшитым из роскошной занавески царских времен.

Что-что – а одеться со вкусом и выдумкой мамаша умела в любых обстоятельствах. И когда не стало средств на услуги лучшей портнихи, начала шить сама. И очень прилично. Не так, чтобы занять серьезных клиентов, но для себя, для ребенка – вполне. И еще халтурить для базара, в крестьянском вкусе.

В финотдел она не платила и поэтому избегала вступать в откровенные беседы с соседками. Подходя к парадному, всегда делала вид, что спешит, опаздывает. Когда появилась Ниночка, уводила ее за ручку в сад, тащила подальше от многолюдных аллей, не щадя отекавших ног и сдающего сердца. Там, в отрадной летней тишине, старуха однажды задремала, и привокзальные проходимцы украли у нее девочку. Милиция нашла ее чудом. В общем вагоне отходящего на Харьков поезда. А главное – быстро, так что Ляля узнала об этом случае задним числом. Не видела, как разбился граненый милицейский стакан на стучащих зубах матери, не слышала ее визга, рвущего уши: "Я не вернусь домой без ребенка! Дочка меня убьет!"

Она не вызывала особого сочувствия, так как боялась прежде всего за себя. И это, надо признать, характеризует ее не самым выгодным образом. Но следует учесть и ее страх перед Лялей, тайно тлевший еще тогда, когда старуха была видной дамой, невысокой, но крупной, большелицей, в настоящем кимоно, которое муж, инженер-энергетик с незапятнанным происхождением, привез из-за границы, – страх, пышно разгоревшийся, когда Ляля стала работать. И подрабатывать.

Ляля печатала быстро и без ошибок. И если бы не подводила со сроками и не врала при этом униженно противно, ей бы цены не было. Она и со всеми своими недостатками работала не в какой-нибудь жилстройконторе, а в уважаемом журнале, где сверх своей работы или вместо нее перепечатывала романы про шпионов и разведчиков. Ляля гордилась своим знакомством с авторами, всячески афишировала во дворе их славные имена и подчеркивала деловой характер отношений. Но соседи-то видели, когда Лялины писатели пришли и когда ушли... И что распирало их карманы и портфели. Бывало и пение за полночь. И тошнотный рев из душника, выходящего на лестницу. И милиция. И "скорая помощь": у кого-то с перепоею начинался сердечный приступ.

Телефона у Ляли не было, звонила она от соседей. Или кто-нибудь из гостей стучался и деликатно просил вызвать "скорую". Соседи заботливо встречали врачей, сочувственно провожали. Любопытно же, что там случилось. И вообще... какой-никакой – а человек, нельзя в беде оставить. Надо же! Допиться до инфаркта! Или дома – на ровном месте! – так сломать ногу, что кости торчали с двух сторон! Держалось чуть не на чулке. Ужас!

Бедная, бедная девочка! И это с ней-то, с ней такое случится! С ее весело болтающимися ножками, косолапо повернутыми друг к другу, как два целующихся зверька. И это она, разросшаяся, разбухшая, в лопнувшей на груди блузке, будет сидеть, откинувшись на перепуганного сморчка, который безуспешно попытается застегнуть эту дурацкую блузку и скажет врачу, готовящему шину, что он – "муж пострадавшей". "Муж? Какой ты мне к черту муж?!" – и уже другим, млосным, но трезвым и полным достоинства голосом: "Доктор! Мы праздновали День артиллерии..."

Ляля всегда держалась с достоинством. Строго. Губы и нос напряжены, вся фигура подтянута, как у актрисы перед выходом на сцену. Только в предвкушении выпивки радостно размокала. Глаза блестели под толстыми стеклами в интеллигентной золотой оправе. Пожалуй, из нее и вправду вышло бы что-нибудь путное, если бы отца не забрали в ту ночь.

А еще гадаешь о предчувствии! Да вот же сидят. Трое. И собака в центре. Обожаемая. Гордость семьи, чистопородная такса. У таксы-то, может, и было предчувствие! У таксы глаза глядят покорностью и бедой, и кажется, что она гораздо умнее своего хозяина-энергетика в рубашке апаш и его широкой жены. И уж, конечно, умнее девочки, хотя и девочка вроде бы не глупа. Но ничего не предчувствует. Улыбается, как будто и завтра, и через год сидеть им вот так же хорошо вокруг таксы, под картиной, изображающей деревенский пейзаж с телегой, в светлой-пресветлой комнате – таких и не будет никогда больше.

Казалось бы... В такие страшные годы... Откуда такой свет? Почему сейчас в этой комнате так тяжело и душно? Ведь это та же комната. И липа за окном та же. Только выросла, раздалась. Война, голод – а липа та же, и обрюзгшая пьяная тетка со сломанной

ногой – та же Лялечка, которая проснулась ночью и увидела, что в соседней комнате горит электричество, и там топчутся чужие люди... Вот тут уже было предчувствие! Она сразу поняла, что отца уводят навсегда, и бросилась на него, не издав ни звука, вцепилась руками и ногами, как зверушка вцепляется в спасительный ствол дерева. Не хотела ничего этого – ничего, что будет дальше: платьев, сшитых и проданных тайком от финотдела, немецких вечеринок, чертова "Дня артиллерии"... Они отдирали ее пальцы с клочками отцовской одежды, по одному, отцепляли руку, а другая рука успевала наново вцепиться. И всё без звука. "Вот гадость!" – выругался один из них, а другой добавил: "Сатана!" Она отлетела в дальний конец коридора, ударилась спиной об угол сундука, а копчиком об пол. И заплакала.

Так что стоило, стоило пригласить ее на новоселье, когда она оказалась за дверью, празднично дрожащая, с фарфоровой собачкой в руках, с локотками, нетерпеливо прижатыми к бокам! А уж помочь ей одеться, помочь медсестре толково заполнить документы, проводить носилки до кареты скорой помощи – тут и говорить нечего. Такая крутая, узкая лестница! Приступки, повороты. Главное – темно. Разбили лампочку на втором этаже. Хулиганы! "Пожалуйста, осторожнее. Здесь ямка. Я вам посвечу". – "Лучше бы мне уже убится к черту и не терпеть такие муки! За что, Клава, за что, я вас спрашиваю?" – "Держитесь, Ляля! Что делать, Ляля! Потерпите. Все будет хорошо. Скоро вернетесь сюда своим ходом". – "Нет. Помните, как маму унесли навсегда? Так и меня! Мама умерла, и я умру". Она впервые заплакала о матери, впервые почувствовала, как страшно было этой рыхлой горе колыхаться на узких носилках, возноситься наискось над перилами, срезая угол, оползать вниз по скользкой коже носилок и бояться попросить об осторожности, о сочувствии. Ведь знала же бедная мама, что никому, никому ее не жалко. А Ляле – меньше, чем всем. Даже наоборот. Только о том и думала, что втащить ее наверх будет еще труднее. А ходить за ней? Мыть? носить горшки? Слушать, как она кряхтит, стонет, харкает? И ничем она не заслужила, чтобы Ляля угробила на нее остаток молодости! Ну, водила к портнихе, покупала пирожные – так ведь за папины деньги! Продавала на базаре платья. Но в этих платьях было больше Лялиного труда. А потом что? Сидела себе в садике с ребенком целый день на свежем воздухе.

Может, впервые Ляля почувствовала к ней благодарность и даже нежность, когда она умерла. Ей-богу, ничего она в жизни не сделала разумнее и своевременнее! Ляля плакала совершенно искренне. Плакала слезами освобождения над гробом, поставленным на две табуретки перед парадным. Куда там тащить еще наверх! А тут хоть соседи подошли, постояли. Родственников-то нет никого. И с работы мало кто выбрался. Как раз сдавали номер. Но все прошло прилично. Особенно – поминки. Ляле не устроят таких поминок. "Клава! Я вас прошу! Помогите Ниночке с похоронами, если я умру". – "Не хочу даже слушать такие разговоры!" – кругами опускался голос с третьего этажа, а навстречу ему с первого – затухающий стон: "Пожалуйста! Завтра... позвоните ко мне... на работу... Только обязательно – не позже девяти-и... Вы же телефон зна-а-ете-е..."

Еще бы Клаве не знать! Чуть не каждую неделю звонила по этому телефону и врала: "Любовь Николаевна просила меня сообщить, что сегодня немного задержится. У нее сердечный приступ. Острое отравление. Вирусный грипп". Ляля одобритительно кивала, надувала зоб. Глаза силились выбраться из-за сизых похмельных мешков, жались в тапочках озябшие голые ноги, и ночная рубашка свисала из-под пальто в полпервого дня... Ага! Сердечный приступ на этот раз! – издевались над невинной Клавой сотрудницы редакции. А раза два даже обругали ее.

И это Клаву! Которая не выносила лжи! И Лялю не выносила. Но так уж вышло, что при обмене прежние жильцы не предупредили ее об образе жизни ближайшей соседки – и прежде, чем Клава разобралась, что и как, Ляля уже повадилась к ней. Не только из-за телефона – она обрадовалась новому человеку с непредвзятым мнением и поспешила произвести хорошее впечатление, пока правдолюбивые соседки не наболтали Клаве – как когда-то капитану-"еврейчику", которого Ляля привезла с фронта, из Австрии. Пожалели парня, доброжелательницы! Пусть бы лучше рассказали ему, как бросились растаскивать

еврейские подушки – не успели двери захлопнуться за дорогими соседями! Всю войну молились богу, чтоб те не вернулись и не потребовали назад свое барахло! Стояли в подъезде и трусились, смотрели, как волки из логова: обижались, что не все ушли в Бабий яр!

Ляля еще поняла бы, если бы ему на нее евреи наговорили. Но евреи ничего такого знать не могли. Для них Ляля была фронтовичка. С медалями за победу, за взятие Будапешта и Вены на выпяченной далеко вперед гимнастерке. Правда, курила. И с капитаном своим жила нерасписанная – но ведь кругом было такое! Война – это вам не институт благородных девиц. Сарка Козачок увидела из окна, как Ляля идет через дорогу со своими медалями, с желтыми кудряшками, заколотыми наверх в круглую клумбочку на темени, увидела ее сапоги, и лаковые чемоданы в руках цыганистого капитана – ошалела от радости и бросилась ей навстречу в рваном халате и с обвязанной головой, воняющей керосином (набралась-таки в дороге вшей!)

И Ляля бросилась к ней! Не побоялась, не побрезговала обняться с подружкой детства! И обе плакали. "Лялечка! Ты знаешь – папа погиб. И Женин папа – тоже. Теперь мы все трое – сироты, Лялечка!" И снова что-то о Женьке.

А Женька-то Ляли сторонила. Сарка все не могла понять, что за кошка между ними пробежала. Но когда стихли баталии из-за подушек и захваченных кладовок, когда еврейки плюнули на эти поганые подушки и начали потихоньку разговаривать с соседками, задерживаться с ними у парадного и доверительно шептаться на лавках – Сарка Козачок стала опускать глаза, обходить и Женьку, и Лялю. Капитан уже бросил Лялю к этому времени. Ляля его не осуждала: у человека немцы уничтожили всю семью, невесту убили... а он сошелся с "немецкой подстилкой". Главное – сам все толковал: "Гуманизм! Бетховен и Бах – тоже немцы! И Маркс с Энгельсом!" И еще про какого-то Себастьяна Стефановича, который отказался от пайка фольксдойча и умер от голода.

Ляля не сделала аборт. Думала: успокоится, узнает о ребенке, вернется. Но он не вернулся. И неудивительно. Одиноких женщин вокруг было полно – причем с хорошими комнатами. Без мамы, которая всю ночь вздыхает и скрипит кроватью, как какой-то слон. А комната узкая, темная. Окно упирается прямо в кирпичную стену, каждый шовчик виден. При папе это у них считался коридор. Разве создашь уют в такой конуре? Да еще две заколоченные двери, через которые слышно все, что делается у соседей. Еврейское карканье в детской. Пьяное мычание в столовой. Пока Ляля была на фронте, в их столовую вселили мелкого начальника с железной дороги. Мать и пикнуть побоялась. А ведь Ляля, можно сказать, только ради этой комнаты гуляла с немцами! Впрочем – нет. Просто была молодая, а парни подобрались все красивые, воспитанные. "Битте, данке" на каждом шагу. Да Сарка бы с ума сошла от радости, если бы в такую компанию попала! У них и до войны не было такой хорошей компании. А уж после войны... Ицык-Шмыцк... День артиллерии...

Надо было сделать, как Женька. Такая пройдоха! Она, видишь ли, партизанка была! Она "собирала сведения"! Какие сведения, когда она по-немецки двух слов не понимала?! И главное – свидетелей выставила! Это они ей поручение дали! Какое поручение? Может, это по поручению партизан Женька надорвала Ляле ухо, когда застала ее с Вилли? А потом – так завралась, что сама в свою брехню поверила, стала воротить нос хуже, чем Сарка. Партизанка... Забыла, как ломала руки, когда немцы уходили из города! "Девочки, девочки, надо с ними убежать! Ляля! Попроси Ангута, чтоб нас взяли!"

Ляля и не подумала просить. Как только город освободили, явилась в комендатуру и потребовала, чтобы ее сейчас же отправили на фронт. И воевала честно, жизнью рисковала, пока Женька тут искала свидетелей-партизан. Чтобы потом по санаториям ездить и квартиру в центре получить. А Ляля за свою собственную комнату боролась всю жизнь. С той самой ночи, как увели отца, а им с матерью оставили темный коридорчик.

Ляля постоянно видела во сне, как возвращается в свою большую светлую комнату. Лицо отца становилось все туманнее, все больше забывалось, а комната все светлела, все милее казался каждый ее уголок, возрождаемый памятью. Это было очень тяжело: спать под

заколоченной дверью собственного дома, слушать, как скрипит под чужими ногами твой паркет, вопросительно стонет дверь и радио поет про утреннюю прохладу и речной ветер. А тебе туда никак не попасть. Там живет, спит, ест Таська. Подружка, которая оставляет тебя ждать под дверью, выбитой прямо на лестницу, пока сама сходит на горшок или возьмет хлеб с сахаром. О детской, куда вселилась Сарка с родителями, Ляля почему-то не вспоминала. Только о столовой, где тогда сфотографировались. Ляля до самой войны не знала, что у матери хранится этот снимок. А где был тайник, так и не узнала – и потому всегда подозревала, что мать прятала там и кое-что более существенное.

А было так. Вилли показывал Ляле фотографии своей семьи. "Майне муттер, майн брудер, майн фатер небен зайнем бюро. Майне гросмуттер унд гросфатер". Потом галантно протянул снимки "дер бэеригтер фрау". "Фрау" покивала. Вышла. И вернулась с этой фотографией. Вилли не мог понять, отчего Ляля с такой горячностью вырвала ее из рук матери. Даже уголок сломался. Она прижимала карточку к груди, снова смотрела на нее, снова прижимала. Вилли не понял, но прослезился. И еще раз прослезился, когда Ляля объяснила: это мой отец. Майн фатер. Его комунистен гешторбен! Их ниht зэен это фото цэйн ярэн. Видишь, как мы жили? Дас ист унзэрэ циммер!" И Ляля объяснила с помощью жестов, что эта комната, этот утерянный рай находится здесь же за дверью. Пустует!

Вилли сказал: "О-о!" Конечно. Большая, хорошо обставленная комната, благополучная семья. Отец – интеллигентный мужчина. В пенсне. Мать – холеная, томная дама. Собака замечательно породистая. Выдвинула навстречу фотоаппарату морду, так что морда кажется размером с лошадиную. Прелесть! И вот это все пропало...

Красивая фотография... Девочка сидит, улыбается. Не знает, что папу ее скоро убьют, а ее выпихнут в коридорчик, где и домработница не спала. Только складывала в кованом сундуке письма из деревни и хозяйские обноски. Домработницу тоже жаль: убежит она из чумного дома да так и не решится зайти за своими сокровищами. К счастью для Ляли и ее мамы. Ткани были добротные, не сношенные. Их еще и после войны будут лицевать и перешивать на Лялю и Лялину дочку. А такса очень скоро сдохнет. Отравится чем-то на мусорнике. Голодать не привыкла...

В общем... если бы жизнь можно было остановить, как киноленту, Лялину жизнь стоило бы затормозить именно на этом месте. Пусть бы так и улыбались вечно вокруг своей таксы, с цветущей липой за окном. Потому что дальше не будет ничего хорошего. Ну, отвоюет Ляля комнату с помощью начальника Вилли. Конечно, радость. Там даже мебель окажется прежняя, их собственная – правда, вдрызг испорченная Таськиными родителями-алкоголиками. В пыльной тряпке, вытащенной из-под дивана, мать опознает останки вышитой собственными руками скатерти. Но ведь это только на два года! Потанцевать под патефон, поесть немецкой колбасы за просторным дубовым столом. Но разве ж это веселье! Хоть и воспитанные – а враги, никогда не знаешь, чего от них ждать в конечном счете. А от своих-то знаешь, чего ждать? Да, пожалуй, знаешь. Мать дня через два после законного вселения в комнату, когда-то ей подаренную дедом-купцом, начнет двигать туда-сюда мебель: все, что получше – в темную каморку. Буфет, этажерочку. Картины. Пыльные, серые, с засохшими клопами вдоль рамок. "Мама! Куда ты их тащишь? Их на растопку пора!" Мать подожмет губы и кусочком лука протрет в уголке темно-зеленый чистый кружок. "Это ж, Ляля, "Ночь в березовой роще"! Папина любимая. Пусть пока так побудет, а то еще *им* понравится. Ей цены нет!"

Второй раз Ляля отвоюет комнату много лет спустя. Как дочь реабилитированного. Возьмет документы, ходатайство, выпрошенное в редакции. И фотографию эту самую прихватит. Прихлопнет ее ладонью к столу секретаря райкома партии, как главный аргумент. Смотрите, во что превратили семью! Для того отец делал революцию, для того проектировал Днепрогэс, чтобы его дочка днем сидела при электричестве и грела электроплиткой сырую пещеру?! Мама умерла от сырости, совсем молодая женщина! Задохнулась от грудной жабы! Ей, Ляле, тоже недолго осталось (и, в подтверждение – таблетка под язык). Не для себя, для дочки, у которой больное сердце и крутит суставы! А теперь еще с мужем развелась!

Конечно! Разве можно сохранить семью, когда ютишься в одной каморке с матерью? А куда ей деваться, Ляле? Пойти утопиться в Днепре? И стоило бы: из-за этой чертовой конуры и она не устроила свою личную жизнь! Одиннадцать метров при ширине полтора! При отце там спала собака! И это в то время, когда за стеной уже год пустует комната, которая по праву принадлежит ей, Ляле!

Как ни странно, секретарь пожалеет Лялю. Маленькую Лялю. С фотографии. Почему-то почувствует себя лично виноватым в том, что эта балованная девчушка превратилась в прокуренную бабу с трясущимися с похмелья щеками.

Если бы Ляля принесла еще и фотографию дочери... Впрочем, и так ведь все уладится. Ляле законно присудят комнату, которую второй Лялин зять, Алеша, и так уже пару месяцев назад вскрыл самовольно. Вытащил клещами здоровенные гвозди эпохи послевоенного строительства, налег боксерским плечом на дверь... Ляля мяла перед грудью нетерпеливые ручки и радостно сияла, как в предвкушении хорошей выпивки... А Ниночка ждала, как Буратино, что за дверью, зашпаклеванной двадцатилетней паутиной и мумиями послевоенных клопов, тараканов, мух, их яиц и помета, и еще какой-то неведомой гадости – воссияет золотая страна.

Но ничего там, разумеется, не было. Даже комната оказалась меньше, чем ожидали. И это естественно. Тем более, что последние жильцы отхватили от нее кусок для установки газовой плиты. А там, где, судя по запаху, жильцы держали помойное ведро, Ляля обнаружила засохший столетник, а под ним – ржавое блюдце со следами японской росписи...

"Боже мой! Как же мы тогда не заметили! Смотри, Ниночка! Это блюдце от нашего сервиза! Вот придурки: испортить такую ценную вещь! А квартиру до чего довели!"

Ниночка брезгливо морщилась. Алеша пообещал сделать ремонт, как только Ляля получит ордер. И Ляля спешила, чтобы успеть до того, как он уйдет в армию.

Но ремонт сделает уже Сережа, первый зять. Ниночка снова сойдется с ним, когда Алеша отслужит половину срока. Так что Ляля напрасно наболтала соседкам, будто Сережа – импотент, когда Ниночка ушла от него. Впрочем, соседки допускали, что Ляля всё это могла и выдумать. Ниночка, мол, не какая-нибудь вертихвостка, а имеет уважительную причину!

Ляля всю жизнь пеклась о приличиях – особенно там, где дело касалось Ниночки. Хорошо одевала ее. Модно. Шила, конечно, сама. Не очень аккуратно, но эффектно. Одного из своих сожителей, того самого Ицыка-Шмыцька, чуть было не выставила за то, что он неуважительно отозвался о Лялином втором зяте: "И что это вдруг еврею дали имя Алеша? Назвали бы каким-нибудь Ицыком-Шмыцьком..." – "Детей не смей оскорблять! – орала Ляля на весь двор глубоким возмущенным голосом, не совсем верным, будто вода расколыхалась и билась в бутылки. – Я человек конченный! Мне Сталин сломал всю мою жизнь! Пусть! Но дети!.. Моих детей не касайся своими грязными лапами, бездарь! Ты сам Ицык-Шмыцьк!"

Несмотря на весь этот гнев, Ляля его не выставила. Но кличка сохранилась за ним до конца его скромных дней. И даже после того, как он упал навзничь вместе со стулом в той самой комнате, которую открыл второй Лялин зять и отремонтировал первый. К тому времени Сережа давно уже выявился из Лялиной квартиры и выявил Виолетту, дочь покойной Ниночки.

"Клава! Скажи мне: что это за квартира такая, где случаются одни несчастья?! Почему он не грохнулся где-то на улице? Или у себя дома?!"

Клава вызвала скорую помощь. Те приехали, от той же Клавы позвонили в милицию. Вскрытие показало обширный инфаркт. И Ляля всем рассказывала об этом с гордостью – будто кто-то подозревал ее в отравлении или в чем-то там еще.

Наутро после похорон в Лялину дверь стучалась старуха. Стучалась часа два подряд и скулила монотонно: "Ляля! У него ж пятьсот рублей было в кармане! Верни хоть половину-у!" Никто не отвечал, только собака выла за дверью, Лялин облезлый Таксик. "Ля-а-ля-а! Хоть сто рублей!" Потом старуха позвонила к Клаве, и Клаве пришлось выслушать плач

старухи о пятистах рублях и о сыне, который, оказывается, написал когда-то книгу о шпионах и ее вся страна читала запоем. "Может, и вы читали? "Реки шумят в апреле".

А перед самым отселением Клаве пришлось отпаивать валерьянкой мужчину в кожанке. "Этой ночью мою дочь обесчестили в сорок первой квартире. Ее напоили на именинах и привезли сюда! Вы должны были слышать какой-нибудь шум! Хотя бы лай собаки!" – "Да эта проклятая собака днем и ночью воет!" – "Мне нужны свидетели! – напирал мужчина. – Здесь за выпивку сдают комнату для свиданий! Впрочем, что с вами говорить! Соседи предупреждали, что вы ее подруга!"

Господи! Да Клава спала и видела, как бы этот дом поскорее пошел на снос! Пусть хоть на окраину переселят – лишь бы избавиться от такого соседства! Пусть даже без телефона!

Клава и так мечтала отключить телефон. Но не решалась. А вдруг скорую вызвать? Да и без телефона Ляля ее бы не оставила в покое. И это с первого дня! То она прибежит на мать жаловаться, что та ее детство отравила, всю жизнь на шее у нее сидит и еще строит против нее козни. То притащится старуха плакать невесть о чем – Клава и не прислушивалась. Во всяком случае о Ляле мамаша и слова плохого не сказала. Так что напрасно Ляля считала, что та ее оговаривает. Да и чего о ней не знали соседи? Люди же не слепые, не глухие. Дом – как колодец: стены толстенные, а все насквозь слышно. Где поют, где ругаются, где посуда звенит... Да и Ниночка много чего говорила подругам, а те своим матерям, а те...

Ниночка даже из дому уходила несколько раз. Ночевала у Галины Макаровны на первом этаже. Пару раз у Тамары Хохловой. Всем было жалко девочку. Хорошенькая. Воспитанная. Сразу видно: бабка вырастила, не мать. В доме теснота, вертеп. "Тетя Тамара! Можно, я у вас уроки сделаю?" – "Конечно, детка". – "Я уйду, когда гости разойдутся. За мной бабушка придет". Темнеет. Совсем черно становится за окном. Тамара давит губами подступающий зевок. "Ложись уже, детка. У меня заночуешь". Наверху звенит, толчется отупевшее веселье, сильные голоса карабкаются перекрыть друг друга. "Ну и пусть! Пусть я не Толстой! Толстого в магазине полно, а ты попробуй меня купить! Меня разбирают за полчаса!" – "Толстого не тронь! Не тронь Толстого! У Толстого есть такие вещи..." Тамара укрывает девочку пледом. "Спи" – "А вы?" – "Я еще почитаю. Вдруг бабушка твоя придет. Или... мама" – "Бабушка уже спит. На кухне. Сидя. А ей – всё равно. Она и бабушку не любит. И меня". – "А ты ее любишь?" – не сдерживает любопытства Тамара. – "У нас дедушка был очень хороший", – шепчет Ниночка в мечтательном восторге.

Трудно сказать, что он был за человек. Пенсне. А так – очень обыкновенный для того времени. Волосы назад, рубашка апаш. Взгляд со светлой сумасшедшинкой. Но это на всех фотографиях тех лет такой взгляд. Видно, так освещали. Или особое качество пленки. Если быть объективным, о нем ничего не известно, кроме командировок, подарков и таксы. С таким лицом можно быть и плохим, и хорошим человеком. Даже в маленькой Лялечке характер угадывается куда яснее. Можно, пожалуй, поверить в то, что эта девочка, так мило скосолапившая ножки в тапочках, не будет любить свою дочь, единственный плод беспутной жизни.

Всматриваешься, пытаешься угадать правду. Будет любить, не будет... Поставить бы две фотографии друг против друга – эту и Ниночкину. Зеркала же ставят. И говорят, что иногда... Нет. Страшно. Фотографии – это еще страшнее, чем зеркала. Кажется, что в каждой продолжает жить увековеченная секунда, изъятая из общего движения. И можно ли сталкивать эти секунды? Что такое для этой девочки взрослая Нина в оранжево-черном костюме? Чужая тетенька. А эта Нина, в школьном передничке? Соперница, девочка, которая гораздо красивее... А вот этого пупса на подушке, уверенно держащего головку, она бы наверняка любила. Может быть, даже больше, чем таксу!

Наверное, Ляля была одной из тех девочек, в которых инстинкт материнства просыпается чуть ли не с младенчества, а годам к тринадцати угасает. Тогда выходит, что весь запас Лялиной материнской страсти был истрачен на собаку и на мечту об обезьяне. Для Ниночки ничего не осталось. К тому же надо помнить и о том, что Ляля "сохранила" ее как приманку, как ниточку, за которую надеялась притянуть чернявого капитана. Но капитан не

вернулся, а Ниночка превратилась в один из главных Лялиных недостатков – наряду с темной комнатой, старухой-матерью без стажа и пенсии и сомнительными слухами об инженере-отце. К моменту, когда Ляля станет гордо рассказывать о нем и о собственной схватке с чекистами, всех мужчин уже разберут. Так что Лялю можно и понять, и пожалеть. А с другой стороны – стоит ли доверять словам ревливой обиженной Ниночки? Каждый любит, чем умеет. Один жалостью, другой нежностью. Возможно, Ляля любила дочку гордостью.

"Кажется! Одинаковые ж формы, одинаковые передники! Посмотришь на Саркину Нэльку – страшилище! А Нинка моя – кукла, и всё! Ты знаешь, Клава – ее ж у меня чуть не украли в детстве! Мама покойная затащила в дебри в безлюдные... – голос начинает возмущенно колыхаться (снова та же вода в бутылки). – А сама заснула! Хорошо, что милиция вовремя кинулась на вокзал! Там какие-то кугуты уже сели в вагон! А ребенок у них красивый, городской!"

И гневно втыкается в угол рта папираса...

"Главное, надо ж так на глаз посчитать, сколько этих салфеток пойдет на костюм! Прямо тютелька в тютельку получилось! Тамара просит его продать для своей Ленки. Девяносто рублей дает! Но мне не надо. Чем ее Ленка-уродина будет носить за девяносто, лучше пусть моя Нинка красивая носит за двадцать! Все думают – импорт. Она пошла в ресторан в этом костюме. "Мама, – говорит, – ну просто проходу не было! Не давали спокойно посидеть! Один за другим, один за другим приглашают! Ты бы видела, сколько было в зале красивых женщин! А они чуть не в очередь стали возле нашего столика! Просто не понимаю!" – У Ляли триумфально выдувается жир из-под подбородка и розовеют щеки. – Пойдем, Клава, я покажу тебе, как получилось".

Слабохарактерная Клава шла. Костюм был плотный, черный, с широкими полосами вытканного оранжевой пряжей орнамента. Он безусловно шёл к Ниночкиным темно-карым глазам и прямым волосам с темной рыжинкой. Сидел он свободно, очень удачно скрывая все, что Ниночке не стоило выставлять. Между маленькими крепкими ножками и чудной головкой внимания стоил только маникюр. Слегка вытягивали ее и стройнили высочайшие каблуки-шпильки и огромный узел на затылке. Да, надо признать, что сложена она была хуже, чем Ляля, и Ляля часто говорила об этом с неподкупной объективностью: "У нее плечи широкие". И, с некоторой долей злорадства: "А талии практически никакой". Будто брала реванш над дочерью. Хоть в этом.

Пожалуй, она не сознавала, что завидует дочери. Что-то такое было в Ниночке... счастливое. Неотразимое для мужчин. Необычная порода, особая, порой достающаяся полукровкам. Какие-то черты взяла она и от Ляли – той, маленькой, с фотографии, но все это было ярче, острее, благороднее. Темные и невнимательные, чуть раскосые глаза с подрисованными сверху стрелочками, отрешенный разлет бровей, вдохновенно напряженный носик, беспокойно сжатые губки. Ресторанные знатоки находили все это многообещающим. Но главное, от чего они вскипали и стояли в очереди у чужого столика под ненавидящими взглядами своих покинутых спутниц, – был лоб. Вызывающе открытый, овальный и чуть выпуклый.

И с этим-то лбом, с этим норовистым носиком, при такой мамаше! – Ниночка до восемнадцати лет ни с кем не встречалась. И этим Ляля особенно гордилась. Она останавливалась с соседками, с которыми не разговаривала годами, и, выдвигая вперед плечи, поворачивая в профиль голову, украшенную на затылке черным шарфиком, вынимала из угла рта папиросу и горячо возмущалась: "Как вам нравится Лена? С ума сойти! В семнадцать лет – и такое поведение! Я Ниночке сказала: чтоб твоей ноги в их доме не было!" Иногда добавляла: "Ну пусть уж мы, старшее поколение... у нас так жизнь сложилась. Пусть. Но они?!"

А вообще-то каялась Ляля очень редко – и исключительно в состоянии алкогольного энтузиазма, когда теряла способность замечать ироническое к себе отношение. Трезвая – Ляля никаких "ироний" не выносила, была необщительна и строга. Ниночка как-то в детстве

сказала Клавде, что, мол, больше любит, "когда мама веселая". Веселая! А что она могла понять в то время? Ее мать не валялась в подъезде, не шаталась, не пела на улице, не приставала к прохожим. Это уже когда Ниночка подросла, ей опротивел родной дом: нестройный гомон, прущий из окон во двор, как пена из пивной кружки, утробный рык и винный запах блевотины, пробивающийся сквозь душник на лестницу. Ниночкин поклонник стоял под этим самым злополучным душником и не понимал, откуда идет этот мерзкий запах, но все не выпускал ее пальчики и умолял словами и глазами из-под старомодной шляпы.

Свадьбу сыграли в доме жениха. Никого из соседей не звали. И Ниночка очень долго не появлялась у матери. Полагали, что для того она и поспешила выйти замуж. Когда же через некоторое время молодые перебрались к Ляле, все завздохали, заговорили о том, что вот, мол, плохая мать все-таки лучше хорошей свекрови.

– Она ж кугутка! – у Ляли лицо тряслось от ненависти к свaxe. – Разве можно жить с такой под одной крышей?! Я забрала их к себе, чтобы сохранить молодую семью!

Через год семья все-таки распалась. "Он несостоятелен как мужчина, – доверительно вздыхала Ляля, и глаза выглядывали сбоку, из фиолетовых слепохмельных глазниц. – Почему ж молодая женщина должна принести себя в жертву? Ей же тоже хочется жить по-людски! А вот это уже – то, что надо! – хвасталась Ляля вторым своим зятем. – Другое дело!" И подбородок прижимался к груди, а щеки, как когда-то у матери, ложились на воротник.

Алеша ей нравился. Он как бы ухаживал за обеими сразу. Не смотрел на Лялю так, будто она грязное стекло – не то что первый зять. Мог и цветочки принести. Без всякого повода, без праздника. И Ниночка при нем как-то смягчилась. Заскочат к Ляле вечерком, телевизор посмотрят. Ляле нравилось, как они переглядываются, переговариваются без слов, одними глазами: "Ну что, поедет домой?" – "Поедет". Ляля выходила провожать в накинутом на плечи пальто и наблюдала с удовольствием, как они ловят такси. Алеша сорил деньгами. Он и из себя был гораздо интереснее. Здоровый, с накачанными мышцами, хоть и парикмахер. В армии служил в десантных войсках. Неудачно вышло. Если бы не умерла его мать-инвалид, не забрали бы Алешу в армию, и Сергей ни за что не смог бы снова подкатиться к Ниночке. Вдруг появился! В пыжиковой шапке, в дубленке. Очень похорошевший и мужественный. Додумался отпустить усы. Вера Жилко пошутила, что усы, видно, помогают от импотенции. А Марья Николаевна уточнила, что от этого помогает шуба. Он купил Ниночке мутоновую шубу. И еще появился арабский диван. Ниночка уволилась с работы и весь день сидела дома в роскошном махровом халате. Такого ни до, ни после никто не видел: шелковистый, с густым бордово-синим узором, на вид тяжеленный, как ковер, но Ляля хвастала всем: пушинка! Ляля спокойно смотреть не могла на этот халат, прямо руки дрожали! А Ниночка ходила в нем небрежно запахнутая, сонная. И шубу свою носила как-то лениво. И весь вид ее был такой, что невольно вспоминались Лялины интимные откровения, хоть никто и не принимал их всерьез. Знали ее манеру соблюдать приличия. Ушла от мужа – не потому что легкомысленная, а потому что "не годился". Сошлась с ним снова – не потому, что стал чинить машины спортсменам и артистам, а потому что – первая любовь. "Первая любовь, Клавочка – превыше всего! Никуда не денешься!"

Любовь так любовь. Клавде-то что за дело! Что ей всматриваться в расплывшееся от безразличия Ниночкино личико! Это беременность такая. Поздний токсикоз. Вон уже шуба на животе не сходится. Без каблучков Ниночка совсем крошка, а такого ребенка раскормила!

"Да он же ей, Клавочка, каждый день носит пирожные! У меня ж уже ругаться с ними нету никаких сил!" И очки прыгают на разбухшем носу, чуть не слетают от праведного гнева. Пополам с завистью. И еще, конечно же, гордость в придачу. "Виноград "дамские пальчики!" По двадцать рублей кило!" – "Зачем же ей сейчас виноград, Ляля? Виноград же пучит!"

И зачем это Клавде?! Зачем вмешиваться? Обронишь неосмотрительно слово – и выслушивай потом целую биографию, все претензии к жизни и родственникам. Будто это

Клавиная должность. "Вы извините, Клавдия Михайловна, что я вас побеспокоил, но я хочу, чтоб вы знали, с кем имеете дело!" – протягивает длинный список. Счет. – Это она посчитала, сколько истратила на передачу единственной дочери! Посмотрите только! Посчитала даже два голубца! По столовской цене, наверное. Разве это мать?! Нет! Вы мне ответьте!" – "Да бог с вами, Сережа! Она такой человек..." – "Нет. Но разве можно..." И это после целого дня хлопанья дверей и телефонных звонков. "Алло! Марья Ивановна! Это Ляля говорит! Ляля! Я опоздаю сегодня. Марья Ивановна! Я звоню с больницы... Марья Ивановна! У меня Ниночка только что родила! Девочку. Да. С больницы. – Ночная рубаша, косо вылезавшая из-под запахнутого халата, посиневшие пятнами ноги жмутся в стоптанных тапочках. – Я буду где-то к трем. Что? Четыре двести! Да! Пятьдесят пять! Да! Врач говорит: баскетболистка будет!" – и от гордости выдувается грудь.

А девочка не станет баскетболисткой. Будет она маленькая, слабенькая, как мать, но совсем не такая красивая. Вырастет без матери. И без бабки: Сергей еле терпел Лялю, живя в ее доме, а уж к себе и на порог не стал пускать.

Казалось бы, такое страшное горе должно было всех примирить! Когда Клава поняла, что случилось, она все забыла! Она готова была броситься к Ляле и утешать, жалеть ее, как сестру! Почувствовала даже злорадное удовлетворение, когда на чей-то вопрос с ироническим стоном: "А-а, Лялина соседка? И что там у нее снова?" – ответила: "У нее умерла дочь". – "Вы шутите?!" – вскрикнули на том конце трубки. – "Так не шутят" – строго отрезала Клава и хотела повесить трубку: пусть сами едут, пусть сами звонят! Но к трубке потянулась Ляля и замычала, захрипела, как отравленная: "Катенька! Это ты-ы?... Да... Да... В морге. Неизвестно, Катенька! Говорят, она вчера вяленькая была. Я ей голубцы приготовила, а она их назад отдала, не было аппетита... Слышишь, Катя! Вы там соберитесь, помогите мне с похоронами! Да. Спасибо, Катя! Да. А то я одна, Катя! Сережу по всему городу ловит милиция. Он, Катя, сел в машину и носится по улицам, убиться хочет! Ой, Катя! А Алешу в больницу забрали: он себе голову разбил об стену, когда узнал... Да, Катя, вернулся. Уже два месяца, как вернулся. Я ж тебе говорила. Говорила... Я точно помню... Еще ты говорила: хоть бы скандала не было... Я же лучше помню..."

Клава вышла на лестницу. Там уже Дуся ходила по этажам со списком, собирала на венок. Давали помногу. "Господи прости! Я ночью слышала гвалт и подумала, что это она празднует, а это вот что было!" Соседи расступились, пропуская Лялину сваху. Старуха истошно визжала и причитала по-деревенски.

Еще шире расступились, пропуская Лялю. Ляля висела на руках у Сарры Козачок и ее беременной Нэльки. Она шла, согнувшись, как от тошноты, и громко стонала. В дверях Ляля остановилась, прислушалась к сватыному вою и обиженно отчитала Нэльку: "Видишь, что ты сделала? Напичкала меня таблетками! Люди теперь подумают, что она больше переживает, чем я! А она ж, язва, еще вчера поругалась с Ниночкой из-за имени! Виолетта ей не подходило! Ей Хиврю надо было!" – "Хай будет Фиоле-е-ета-а! Как ты хотела, так усё будет!" – доносилось из глубины квартиры, из отвоєванной комнаты, где когда-то сфотографировался инженер Бобров с женой, собакой и дочкой Лялей...

Лялечка-Лялечка! Тот же дом, под которым ты каталась на санках. Те же липы, только погрузневшие, раздавшиеся ввысь и вширь. Деревья хорошеют от старости, и так их красит снег, залегший в развилках! А ты вон какая станешь... Вон та, у изголовья гроба... В черном платке, с мокрыми щеками, провисшими, как два мешка, от воспаленных глаз до жирной груди – не опавшей от горя, а, наоборот, как бы выдувшейся от переполняющего чувства собственной важной роли в происходящем. Не лучше ли вот так: лежать среди белых сугробов, сиять чистым лбом, светиться в белом свадебном платье, сквозь кружево которого видна нежная кожа спокойно сложенных рук... В пене белого тюля, припорошенного снегом. Две непрерывные снежные гряды от конца до конца улицы растут на глазах, светлеют, принимая на себя светлое вдохновение смерти, продлевая до весны зыбкую память о

Ниночке. Что ей до всех этих людей, до этих грязнящих точек? Возьмется, суетятся, заглядывают из-за чужих спин... Что ей за дело до сердечного приступа первого мужа, до рассеченной брови второго...

Заживет. Уже через несколько дней Сергей позвонит в Клавину дверь, убитый, но не внушающий опасения, – и станет рассказывать про диван, про шубу, которую Ляля поспешила продать сотруднице. А халат носит сама. "Напялила на второй же день! Вы представляете?! И это мать?!" Что могла ответить Клава? Ее тоже шокировало удовольствие, с которым Ляля куталась в халат дочери.

"Мне ничего не нужно, Клавдия Михайловна! Я просто хотел собрать деньги на памятник. Это же не человек, а черт знает что! Говорит, что у Нины этот халат был до меня! Пусть им подавится, этим халатом! Я просто хочу, чтобы вы сказали, кто купил этот халат!" – "Вы, Сережа. Конечно, вы. Я помню". Он кивнул с облегчением, надел шапку. Снова задержался. "Вот я все время думаю: разве можно, чтобы ребенок общался с таким человеком? Моя бы воля – она бы и не узнала, что у нее есть такая бабушка. Вот вы мне можете сказать о ней хоть что-то хорошее? Хоть кому-нибудь этот человек сделал добро?"

И, наконец, ушел.

Клава задумалась. Собака? Другой бы на Лялином месте давно отнес ее на усыпление. Этот Таксик и щенком был невозможно уродливым, а теперь... Облезлый, с лысиной на весь бок. А главное – его вечный нестерпимый вой! Правда, слышно иногда, как она дает Таксику пинка, но его бы и святой не выдержал. А, может, и нет никаких пинков. Просто наступит на лапу спьяну... Во всяком случае, кормит его, как на убой. Сзади посмотреть – ужас: свинья пятнистая! С собачьим хвостом. И пузо везет по земле. Если бы Ляля столько с матерью возилась, та еще жила бы и жила. Но это говорить легко. Легко другим указывать, как надо.

Клава вспомнила слова Сергея, когда Ляля стала помогать ей присматривать за брошенной старухой Фридманшей. Двое детей Фридманши и приемный сын были людьми уже пожилыми. Они считали, что мать – скандалистка, которой они всю жизнь стыдились, – здоровее их всех. И до какого-то момента так оно и было. Но в конце концов она выжила из ума. Стала подниматься по ночам с какой-нибудь естественной или неестественной целью, падала – и лежала бы до утра на холодном линолеуме, если бы Клава, живущая квартирой ниже, не просыпалась от этого дровяного грохота. Дети Фридманши не придумали ничего лучше, чем доверить Клаве ключи от квартиры матери. Когда муж Клавы окончательно отказался возиться со старухой, Клава обратилась к Ляле, и та с неожиданной горячностью взялась помогать. Она по нескольку раз на день поднималась на пятый этаж, поила старуху, охотно разговаривала с ней, хотя Фридманша понимала ее не больше, чем Таксик. С особым чувством все это делалось при свидетелях. "Вот это и я буду лежать когда-то. Может, и ко мне кто-то подойдет, пожалеет... Разве ж Ниночка моя вот так бросила бы меня, если б она не умерла? – Ляля быстро встряхивала отеки лицом, левый глаз не в лад моргал. – Пейте, пейте, Розочка Наумовна! Давайте, я вам подушку поправлю. Раз дети такие жестокие, чужие люди не дадут пропасть".

И чай, и взбитая подушка положения в целом не спасали. Но Клава была благодарна Ляле, хотя в Лялиной доброте было много картинного. Даже что-то нехорошее, злорадное: Фридманша, хоть и неряха была и скандальная баба, а детей своих любила самозабвенно, только для них и жила, возила в санатории, учила в институтах... Не Ляле чета. А награда выходила одна – что за то, что за это.

Клава и не осуждала Лялю за это удовольствие. Наоборот, поддерживала. "Ниночка б никогда со мной так не поступила!" – "Конечно, Ляля. О чем говорить!" Хотя и не была Клава в этом убеждена. Кому это важно? Искренность, неискренность... Клава искренне жалела и Фридманшу, и Лялю, и Лялиного пса. Но псу она желала сдохнуть, Фридманше попасть в богадельню, а себе – выселиться поскорее из этого дома, разрушающегося на глазах. Получить квартиру в какой угодно дыре, подальше от всего этого, а главное – от Ляли! От ее замусолившегося халата, от "Ночи в березовой роще", которую Ляля подарила

Ниночке на свадьбу, а потом пыталась продать Клаве. От этой фотографии, осточертевшей за столько лет!

Клава ушла в первую же предложенную ей квартиру. Прогодала, конечно. Другие соседи выхлопотали себе получше. Но Клава не жалела. Ей приятно было, что вокруг, в доме, во всем районе нет ни одного знакомого лица.

Где-то через год Клаву навестили приятели из Москвы. Она забыла сообщить им новый адрес, и гости прямо с вокзала заехали в старый дом. "Там уже никто не живет, все стекла повыбиты. Хорошо, одна старая баба вышла, объяснила нам, как тебя искать" – "Какая баба?" – "Да здоровенная такая, будто водой накачанная. С папиросой. Все, говорит, разъехались, а я тут и сдохну".

Клава решила сходить к Ляле, хоть и не хотелось. Но так и не выбралась: занималась гостями, обкладывала кафелем ванную...

Ну и что из всего этого? Ничего. Просто девочку жаль. Хорошенькая девочка. Не ангел. Склонила светлую головку, улыбается. А ничего в ее жизни не будет такого, о чем бы стоило рассказать. Эта девочка умрет. Ее найдут в пустой комнате, туманной от пропылившейся паутины. Опухшую, в замызганном махровом халате.

Неправда!

Не может этого быть!

1992